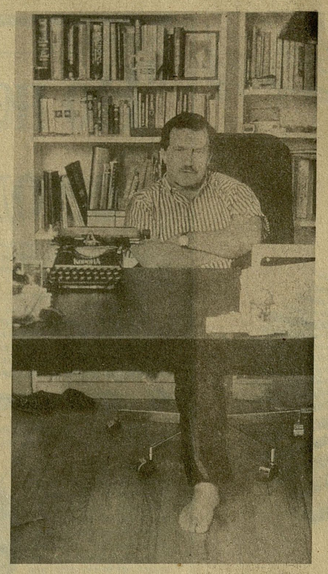
Акёнов Василий

4.02.95

«Ограбить писателя может только гильотина», —

сказал Василий АКСЕНОВ журналу «Элита», с любезного разрешения которого мы публикуем эту беседу



Накануне нашей встречи машину именитого русского писателя и уважаемого американского профессора вульгарно «обчистили», Бог знает, чем прельстившись. Это не «мерседес», не «форд-скорпио» — обычная крохотная «Ока». (В более престижном авто на родине автор незабвенных романов не нуждается). Чутье, однако, не подвело жуликов. В «бардачке», помимо документов, они обнаружили приличную сумму в долларах, легкомысленно оставленную писателем.

Уже во время интервью раздался телефонный звонок. Хотелось бы написать, что просвещенное ворье, узнав, кому нанесен урон, немедленно раскаялось... Увы, похоже, они прекрасно знали, кого грабят: о раскаянии и речи не было, поступило лишь деловое предложение — вернуть захваченные документы в обмен на новые доллары.

К «наезду» ворюг, превратившихся в рэкетиров, Василий Павлович Аксенов отнесся философски: у них в дистрикте Вашингтон еще и не то бывает.

В этом, быть может, напускном и тем не менее очень достойном спокойствии было нечто примечательное. Желание Аксенова и в быту соответствовать своему писательскому предназначению, более того — самому стилю своей прозы, предполагающей умение не только выигрывать, но и достойно проигрывать в житейской борьбе. Похоже, что любимым своим персонажам Василий Аксенов старался отвечать и в жизни, воплощая собой образ корректного джентльмена, любителя клетчатых английских пиджаков, шерстяных галстуков и рантовых ботинок. Иной раз трудно бывало определить, то ли автор подражает в обыденности своим героям, то ли герои являют собой реализацию авторских вкусов и заветных представлений о достоинстве и счастье. О красоте, комфорте, космополитической атмосфере фестивалей, вернисажей, премьер...

— Такого органического соответствия житейского стиля литературному давно не знала российская словесность. Если знала вообще.

— Почему же? — не согласился Василий Павлович. — Когда думаешь об этом соотношении искусства и жизни в писательском сознании, прежде всего приходят на память русские «байронисты»: Пушкин, Лермонтов. Они в молодости точно знали «делать жизнь с кого». (С «боярина Георга», как выразился Александр Сергеевич, заказывая панихиду по лорду Байрону). Он для них был абсолютным примером, просто эталоном в жизни, в манерах, в поведении, в умении принимать немедленные решения, в экзотических странствиях. Слава Богу, для этого очень годился Кавказ — без него вообще, быть может, не возникла бы русская поэзия в том виде, в каком она сложилась и существует. Как и без французского шампанского, кстати говоря. Что означало путешествие Пушкина в одиночку без чьего-либо разрешения в Арзрум? Он сверхом пересек Кавказский хребет... А лермонтовские бесконечные поиски опасности, пирушки в тылу у горцев? Слияние жизни и творчества, «байронизм» в чистом виде, лепка своего собственного образа в согласии с творческой установкой.

Да и в советское время бывали писатели, которые как-то исподволь формировали свой человеческий имидж в соответствии с литературными пристрастиями. Например, Константин Михайлович Симонов... Этакий плейбой сталинской поры. С определенной эрудицией на Хемингуэя... Культ солдатского мужества, журналистского братства... «С лейкой и с блокнотом...», «Шеф нам отдал приказ лететь в Кейптаун...», «Как дела, старик?», «В порядке, старик!» Постоянная выпивка как образ жизни, мимолетный роман на аэродроме... Сильный мужчина державы, готовый рисковать жизнью ради идеалов империи, и вместе с тем тайный лирик, поэт роковых встреч и разлук. Кичевый, в сущности, персонаж, но весьма любопытный и по-своему притягательный...

Что же касается меня, то я пытался в ранних своих вещах изобразить какие-то мгновения невоплощенной жизни. Представить возможные ипостаси себя самого. Хотя на самом-то деле эти мои видения редко в точности накладывались на меня.

— В свое время вы немало поддерживали наших российских постмодернистов, никому тогда не известный российский андеграунд. В конце семидесятых и их творчество, и ваше покровительство воспринимались однозначно — как вызов затхлой атмосфере в литературе, как борьба с тоталитарной идеологией, в конце концов. Но вот настали иные времена. Бывшие гонимые постмодернисты превратились в истеблишмент, а пародийная, издевательская их эстетика сделалась почти столь же нормативной, как некогда соцреализм. И мне, откровенно говоря, жаль нынешнюю читающую публику, в особенности молодую, которая не получила таких произведений (не сочтите за лесть), как «На полпути к луне» или «Папа, сложи». То есть рассказов и повестей, в которых сквозит не выворутнут и, не перевернутая, не игровая, а подлинная жизнь с ее теплом и сердечностью, с бедами и печалями.

— Я своим американским студентам рассказываю: после революции в Москве существовала студия знаменитого художника-авангардиста Ильи Машкова, его ученики собирались вместе и писали, и не хотели расходиться, не желали расставаться. Их вернисажи превращались в то, что ныне называется «хепенингом», в некое действо, в которое вовлекается и публика. А самое замечательное, что эти творцы-авангардисты и авангардисты-зрители очень любили друг друга.

С нами происходило нечто подобное. В годы нашей молодости столики в ЦДЛ, в Доме кино, в ВТО, в прочих клубных ресторанах буквально на глазах становились центрами компаний. Двое приходили поужинать, а через четверть часа, как коралл, обрастали друзьями, подругами, приятелями, знакомыми, никто не хотел расставаться до утра, и самой распространенной репликой было: «Ты — гений, старик!»

И художники сидели тут, и джазисты, и актеры — это было движение! А сейчас, на мой взгляд, этого еще нет. Хотя не исключаю, что вскоре нечто подобное возникнет. И тогда нынешний тотальный постмодернизм предстанет в довольно жалком виде. Впрочем, допускаю, что общество должно переболеть и этим, пережить как заразу абсолютный нигилизм и чернуху. Я уже говорил как-то, что сейчас период не «вдохновения», а «выдохновения». Выдоха, освобождения легких и альвеол от гнусного совкового силикоза. На этой энергии освобождения, злого осмеяния прошлого, разумеется, может возникнуть нечто значительное. Однако жаль, что пока еще не возникло. Слишком многие сейчас используют пародию на пародию.

— Любителю книг в самом деле трудно примириться с точкой зрения на литературу только как на игру. Привычно думать, что литература все же не забава...

— Ну да, тут мы подходим к коренному вопросу: что же все-таки такое писательство — божий промысел или дьявольский искус. Понятно, что в литературном деле нельзя обойтись без игрового момента, но ведь эти нынешние российские ребята все на свете объявляют игрой. Их вообще невозможно уязвить. Скажешь, к примеру: это плохо написано, а они тебе в ответ: «Так ведь так и надо плохо писать». Упрекнешь в графомании, а они отговорятся, будто графомания и есть истинная свобода.

— Создается впечатление, что сегодня никто ничего не читает. И в компаниях спорят не о журнальных новинках, а о процентах по вкладам. Понятно, что это своего рода плата за свободу, неизбежная данность переходного периода. И все-таки обидно.

— Мне кажется, сейчас происходит естественная девальвация типично русского понятия «писатель — властитель дум». Оно было свойственно и старой России, и особенно поднялось в цене в послесталинский период нашей истории. Писатель служил своего рода последней инстанцией, у него искали ответы не только на вечные экзистенциональные вопросы жизни и смерти, но и на вопросы вполне конкретные — распускать колхозы или укреплять их, что сеять, когда жать... Думаю, что вот это непосредственное властительство в сущности уже исчезло. Вместо этого у писателя, который не суетится, не спешит на все политические баночного пива, с вермутами и джинами, и сам, как джинн, волокущий за собой пару-тройку первоклассных девиц вместе с мерцающим шлейфом крутого дебоша.

«Не покидай меня сегодня, Модя, если есть у тебя еще хо мне чувство дружбы и душа великого художника!»

«Фаза, дорогой, да ведь премьера сегодня в Ланкоме! Не могу не пойти, там мой ученик, Юджин Пендерграст, оформлял декорации!»

«И я с тобой пойду! — как бы обрадовавшись, воскликнул советский перс. — А потом и дальше двинемся, и кого хочешь возьмем с собой из Ланкома! Только ты меня не покидай, мой лучший друг!»

Отказаться было невозможно. Вопреки гуляющим по Москве сплетням Орлович считал Фазу «отличным парнем». Легче всего, господа, объявить необычную персону агентом КГБ, а вот вы бы лучше попытались взглянуть на него глазами художника! Этот затянутый в кожу миниатюрный демон на белом фоне или в полосах зеленоватого цвета являет собой пятно хроматической трагедии. Ему жена, проживающая в Лондоне, на Гросвенор Скверр, не позволяет свиданий с дочерью на нейтральной почве, а в Англию он не может приехать, поскольку несправедливо занесен в компьютер Скотланд-Ярда.

Они вышли вместе на Никольскую. Немедленно приблизился экипаж Фазы, «мерседес-600» с мастером-рэллистом за рулем в сопровождении большого джипа «Иосиф Труппер», где размещалась охрана, трое бывших сотрудников спецгруппы «Альфа». Самая надежная в городе служба, хотя и не стопроцентно надежная, если судить по результатам прошлогоднего путча ЦК КПСС. Поехали. Бедный народ прижимался к стенам, как будто от крика «Пади!» и свиста кнута. Фаза, как мальчик, сидел среди мерседесовской кожи. Лицо свое держал в ладонях. Глаза шевелились.

Родители этого могущественного богача принадлежали в старые годы к коммунистической партии ТУДЭ, которая старательно трудилась для осуществления в Иране марксистско-ленинской революции. Увы, реакционные круги тоже трудились над обратным вариантом и, как выяснилось, трудились более старательно.

Во всех этих делах, вместо известного французского cherchez la femme, ищи другую первосновосну — керосин. Как только народная партия Ирана, выражая чаяния простых иранцев, национализировала нефть, реакция зашевелилась, да еще с такой силой, что свергла большого друга СССР господина Моссадыка и принялась потрошить ячейки ТУДЭ. Те же самые простые иранцы, что вчера еще размахивали красными флагами, теперь подкладывали активистов ТУДЭ под катки асфальтоукладчиков.

Нет никаких свидетельств того, что именно такая участь постигла отца Абулфазла, однако сын, особенно в подпитии, видел именно эту картину: папашу-старика расплющивает каток вместе со всеми его железами и потрохами, делает из него просто шкуру наподобие твоего медведя, Модик, на котором сейчас сидим, или даже тоньше, много тоньше. И заливался рыданиями.

О матери же своей Абулфазл Фазал вообще предпочитал не упоминать, хотя она тоже не вернулась из той моссадыко-пехлевистской переделки. Словом, что там говорить, взрослая сволочь мира во всех своих оттенках творит мерзости, а расплачиваться приходится детям. В семилетнем возрасте Фаза попал в сиротский дом Коминформа в глубинном российском Иваново, где научился в лучшем виде выгребать оловянной ложкой оловянную миску. Там он и повзрослел. Для переноса смысла мы можем перенести союз «и» в другое место и тогда, пользуясь гибкостью русского языка, получим нечто не очень-то вдохновляющее: «Там и он повзрослел» — то есть и он к взрослой сволочи приобщился.

Впрочем, достоверно известно только то, что он окончил в Иваново среднюю школу. Дальнейшие его университеты прикрыты туманами холодной войны. Иногда, по пьяни, выплывало, что он вроде бы получил степень бакалавра в старом Оксфорде, в другой раз смутно упоминалось какое-то училище в Рязани, где овладел наукой выбивать зубы и пользоваться психотропными пилюлями. Одно другому, впрочем, не мешает, а иногда и помогает, и уж во всяком случае ни то, ни другое не препятствует накоплению огромного капитала в твердой валюте.

Московские друзья и подруги привыкли к тому, что Фаза иной раз пропадает на несколько месяцев, «линяет с концами», как будто его никогда и не было, а потом снова возникает, сначала в виде слухов из Нью-Йорка, скажем, или с острова Мальты, или из Каира, а то и с кинофестиваля в Каннах, или из кулуаров совещания стран ОПЕК, а потом и сам материализуется на богемных чердаках и в кабаках Москвы, окруженный сомнительными «шестерками» и безупречными девицами.

«Вы все меня считаете агентом вашего мудацкого КГБ, старики, — говорил он, — а между тем я просто бизнесмен, сторонник системы свободного предпринимательства. Все дело в том, концы морковные, что у меня есть иранский паспорт, а он, при всей своей говенности, дает возможность выезда из дикой страны моего детства и открытия в разных странах торгового бизнеса».

На чердаках и в кабаках покатывались со смеху. Щеки у присутствующих сводило от подмигивания. «А чем же ты торгуешь, Фаза?»

«Съестными припасами, — и что Америка требует его выдачи как нарушителя закона о запрете торговли стратегическими товарами. Советское правительство, разумеется, занимает позу оскорбленного достоинства. Иран заявляет, что ублюдок Фазал является слугой Сатаны и к своей праведной родине не имеет никакого отношения. Потом все затихает, как будто и не было в мироздании такого персонажа, как Абулфазл Фазал.

Через три месяца он появляется, неся на ланитах покров байронической бледности. «Я много пережил за это время, — говорит он друзьям и подругам из сафьяновой книжки. — Тамара оказалась мне неверна. Манхеттен засосал ее в свою развратную трясину. Больше на Манхеттен я не ездок!» На все вопросы о заграничной тюрьме Фаза отвечает лишь небрежным отмахиванием: «Что за лажа? Не верьте дурацким сплетням!» Вялый, посторонний, хмурый, растерзанный любовной драмой, сидит на своей трехэтажной даче под Москвой, никого не приглашает, но и не прогоняет, если приезжают без приглашения.

Василий АКСЕНОВ

СЕН-САНС

Посвящается Б. Мессереру

Наконец начинается «гордовизм», открываются головокружительные возможности в мире международной торговли съестными припасами и фертилизаторами. Абулфазл, к тому времени оправившийся от воспоминаний то ли о «трясине Манхеттена», то ли о германском узилище, оказывается со своим капиталом — по слухам, не менее 300 зеленых лимонов свободных денег — в центре новых инициатив. День-деньской он курсирует между цэковским кварталом на Старой площади и молодежным филиалом, что наискосок через бульвар, за памятником «Гренадерам Плевны». По коммерческой энергии молодые ленинцы перекрывали тогда даже опытных товарищей из штаба партии. Даешь КомСоМол — Коммерческий Союз Молодежи!

Фаза заседал в советах попечителей новых корпораций, акционерных обществ и фондов, циркулировал по странам, не отказавшим ему в праве въезда, создавал филиалы и «дочерние группы» под «амбреллой» его собственного посреднического финансового узла, название которого вдруг всем стало известно: «Euro-Asian Fellowship». В Москве тем временем он тоже распространялся в новых предприятиях: то валютный бар, то валютный продмаг, то общедоступный спортцентр (наиболее подозрительное заведение из всех), то дискотека, то кинокомбинат вкупе с фабрикой сувениров — повсюду выявлялось присутствие вездесущего Фазы.

Друзья нередко могли его застать и в президентском кабинете, стометровой комнате над крышами Москвы. Подобно ранним символистам, смотрели на угасание заката, играли на пианино что-нибудь ностальгическое, вроде «Московских окон негасимый свет». Фаза грустил. Он был убежден, что ни одна женщина не полюбит его всерьез из-за его миниаторных размеров.

Однажды Модест Орлович застал его в вестибюле фирмы за необычным занятием. Господин президент лично распоряжался погрузкой в фургон большого количества каких-то увесистых ящиков. «Что там такое?» — поинтересовался художник. «Рубли», — был ответ. Даже легкомысленный художник не мог не удивиться: «Как, во всех этих ящиках — наши, советские рубли?» «Вот именно, — сохраняя свою постоянную серьезность, кивнул перс. — Причем в крупных купюрах». Даже легкомысленный художник не мог не поинтересоваться: «А куда же их везут?» Фаза полоснул его взглядом леопарда, но потом с серьезностью рассмеялся: «Модик, ты же знаешь, что на некоторые вопросы нет ответов». Художник не мог не рассмеяться в ответ: «А почему бы тебе не подарить старому другу хоть один ящичек?» Фаза еще раз серьезно на него посмотрел, а потом сказал: «Да бери любой». Тут же один из евразийских молодцов погрузил ящик рублей в багажник модестовской «Лады». «Потрать быстрее», — посоветовал друг.

Потратить рубли в последние месяцы коммунизма было задачей не из легких, потому что на них уже почти ничего не продавалось, однако и тут Фаза пришел другу на помощь советом: «Изъяви желание потратить в десять раз больше цены, и сразу найдешь немало превосходных товаров».

Вот такое был маленький Абулфазл Фазал. На его долю в жизни выпало стать оператором денег, и он с этой долей неплохо справлялся. Иные скажут: что еще надо человеку — и проявят таким образом поверхностный взгляд на жизнь вообще и на жизнь Абулфазла Фазала в частности. Слов нет, деньги много дают человеку, но когда ими постоянно обладаешь, начинаешь воспринимать их как воздух и вдыхаешь, не задумываясь, то есть не всегда проникаясь счастьем.

«Счастье, может быть, в основном исходит от женщин», — так иной раз думал Фазал и начинал грустить. Грустная проблема женщин, как ни странно, была у него связана с изобилием денег. Всех своих красавиц он подозревал, что они ложатся с ним в постель из-за денег, а не из симпатии.

Как и подобает падишаху, он был исключительно щедр с женщинами. В ответ и они были щедры и охотно отвечали на все запросы. «Еще бы им не отвечать на мои запросы, когда я им так много даю всего материального», — говорил он друзьям. Он как бы даже не допускал мысли, что какая-нибудь женщина может увлечься таким маленьким мужчиной без материальной щедрости. Друзья его утешали: в постели разница в росте значительно сглаживается. «Да-да, — он кивал, — я и сам нередко замечал этот феномен, тем более что моя штука их вполне устраивает». Свой фаллос он нередко называл «штукой», а если учесть, что в московском денежном жаргоне слово «рубль» все чаще вытеснялось «штукой», иначе говоря, «тысячей», то тут опять возникала какая-то двусмысленность. В общем, он всегда мрачнел, когда речь заходила о женщинах: «Как они могут быть, эти бляди, со мной искренними, если я им и шубы покупаю, и телевизоры японские, даже автомобили, а в некоторых случаях и кооперативные квартиры?» «Ну, хорошо, Фаза, — говорили ему друзья, — завязывай со своей щедростью, вот и проверишь, кто к тебе хорошо относится». «Это невозможно, — отвечал он. — Я не могу быть жадным с женщинами, с этими суками, которые на Манхеттене впадают в форменное свинство, а иногда даже отказываются прилететь в Швейцарию с моими собственными детьми».

Таков в общих чертах был этот Абулфазл Фазал, чьи деньги сильно перевешивали его хрупкую фигурку, хотя слегка и уравновешивались трагическим иранским лицом с буревестниками своей бровей.

В Театр Ланком в тот вечер съехалась «вся Москва», вернее, то, что от нее в тот вечер осталось, учитывая «четвертую волну» эмиграции и фестиваль «Золотого заравеса». Этот театр еще недавно назывался «Ленком», однако публика в духе времени вроде бы даже не заметила изменения первой гласной, тем более что вместо красной портяночки здесь и впрямь стало попахивать французской парфюмерией.

Давали в тот вечер пьесу под сходным названием «Экскьюзе-муа», которое, как и имя театра, давало возможность разных толкований. Действие происходило в морге. Где же еще может происходить действие пьесы 90-х годов? Цветы зла», как выразился тогда ведущий филолог постсовковизма, пышно расцветали даже на письменных столах профессиональных апологетов добра.

Дело не в пьесе, совсем не в ней. Многие театры начинаются с вешалки, то есть с раздевания в гардеробе, Ланком же всегда начинался с перерыва, с прогулки по паркетным фойе. Абулфазл всегда оживлялся в перерывах пьес, вот и сейчас он немедленно задействовал свою перерывную активность и вручил свои визитные карточки двум театралкам, у которых ноги начинались на уровне его подбородка. Девушки сразу поняли, с кем имеют дело, и вспыхнули неподдельным девичьим чувством, ибо не было в Москве ни одной длинноногой девушки, которая не слышала бы о загадочном персидском набобе.

Здесь мы не можем не позволить себе короткого лирического отступления по адресу новых девиц. Откуда они явились на российскую землю в эти смутные времена? Ведь прежде нашу гордую страну можно было назвать чем угодно, но только не питомником высокорослых манекенщиц. Красавицы России никогда не отличались чужеродной долговязостью, как вдруг подрос урожай семидесятых, этих жирафчиков с кукольными личиками, постоянно пребывающих в состоянии несколько глуповатой задумчивости.

По мере того как Перестройка становилась все более необратимой, их полку прибывало. Некоторые их них позировали на танках во время Августовской революции, предотвращая своим присутствием газовую атаку коммунистического спецназа. Есть что-то таинственное в их наружности, тем более что мужская половина этого поколения не может похвастаться никакими особыми качествами, кроме искусственно выпяченных подбородков. Кто они, эти тонкие и долгие дочки России, что появились так вовремя на высшей точке декданса, если у этого понятия может быть такая вещь, как высшая точка? Может быть, это своеобразные мутанты, возникшие под влиянием каких-то еще неизученных радиаций? Во всяком случае они теперь заметны повсюду, в том числе и в Театре Ланком во время его знаменитых перерывов.

Кроме девиц, присутствовали здесь также и многие представители новой администрации, то есть представители старой администрации, поменявшиеся друг с другом местами, то есть слагаемыми суммы. Были и лица, сильно взаимопутаниеся к вершинам из худосочия прежней командно-административной системы. Так, например, в толпе солидно прогуливался подполковник Зубцов, знакомый Фазы еще по рязанской школе высших наук. Еще недавно этот Володька Зубцов за 320 «рэ» мудачил в Пятом управлении комитета, а теперь вот заседает в новой рыночной структуре «Рострумтрат», торгует «дизелькой» и тем, что на этой «дизельке» быстро ходит по небу, то есть реактивными перехватчиками. В комитетские времена этот жмырь Зубцов навытяжку тянулся перед каким-нибудь генералом идеологического сыска Бобцовым, а теперь этот сумеречный генерал у него на подхвате, консультантом, то есть просто чтобы не сдох в период отвязанной инфляции.

Зубцов, похоже, хотел ограничиться солидным, едва ли не вельможным кивком в адрес Фазала, однако тот сразу напомнил ему о субординации, пригласив приблизиться легким спуском правого века и еле заметным сгибательным движением ладони. Зубцов тут же сообразил, что неправильно себя повел. За годы работы в своем сраном комитете он усек, что в мышечной системе человека недаром имеется в два раза больше сгибателей, чем разгибателей. И немедленно подскочил на цирлах.

Такова была постоянная тактика Фазы на подобных московских тусовках. Будучи крошкой и всегда опасаясь, как бы не затерли бокастые и жопастые мужланы полупреступных сфер, он разработал немало способов создания вокруг себя определенного пространства, в котором доминировал. Так и сейчас, на десятой минуте ланкомовского перерыва вокруг него оформился кружок отечественных и иностранных проходимцев, изъяснявшихся на International Commercial English и обращавшихся к нему за уточнениями. Разговор вылеглялся примерно вот в таком стиле: «А ты его на хер пошли выз сач пропозышнз! Уот эбаут Ебург прайм рэйтр, Дык? Вова, белив ми, там на тебя наедут! Каман, Марчело, уи эр ол хьюман бынгс...»

Разговаривая в таком стиле, Фазал высматривал, куда пропал друг, «альбатрос боемы» Модест Орлович, и, найдя его наконец в окружении «своих», то есть актеров, писателей и художников, бросил денежную шпану и немедленно к ним устремился, к своим. При всех своих финансовых, торговых и еще неизвестно каких мероприятиях он все-таки считал себя человеком московской богемы. «Олег, Сашка, Ниночка, Ляля, Витюха, эй, после спектакля не разбегаемся, о'кей, дальше двинем, лады?»

В этот как раз момент из глубины фойе хмыльнулось ему толстогубое и неумолимое наваждение, что месяц назад вдруг вынырнуло, то ли из подполья, то ли из подсознания, в Долине Бекаа. Уже тогда он понял, что как бы мимолетно оно ни пролетело, от него не уйти, что адресовано оно лично ему, маленькому воспитаннику Ивановского спецдетдома, что никакие дяди теперь уже его не защитят.

Гремел третий звонок. Публика, начисто забыв первое отделение пьесы «Экскьюзе-муа», перлась на второе, а Фаза, потеряв эквилибриум — вот именно, эквилибриум! — нелепо разъехался на навощенном паркете. Руками хватался за гладкую поверхность, а руки скользили, как будто и ладони превратились в итальянские полированные подошвы. «Что меня тогда туда понесло, прямо в пасть? Вечно я ищу на свою маленькую жопу больших приключений». Он бормотал чепуху, как будто речь шла просто о просчете, о неправильной стратегии, то есть о вещах, хотя и ужасных, но поправимых, бормотал, бормотанием отгоняя подспудную уверенность в необратимости гнуснейшего, грязнейшего наваждения, уверенность в том, что и вне Бекаа Вэлли оно бы появилось перед ним как завершение какой-то тысячеходовой бессмысленной манипуляции.

Еще утром, когда его команда заправлялась бензином без очереди на станции «Ажип», толстогубая хумылка мелькнула перед ним за крышами десятков машин и мгновенно растаяла, оставив его со обившимся дыханием и затрепетавшим пульсом и с твердым ощущением того, что вот теперь-то на него окончательно «наехали».

Весь день, пока ездили по идиотским многомиллионным делам, он рыскал взглядом во всех направлениях, подавляя трепетание порциями коньяку, но ничего больше не замечал. Глава охраны, Кеша Тригубский, человек с железной башкой гонщика и скалолаза, и тот заволновался: «Где-то не порядок, шеф?» Фазал прикрыл ладошкой маленький шарикоподшипник уха, принадлежащего шварценеггеробидному человеку: «Кеша, на меня наезжают!»

«Кто? — выстрелил вопросительной ракетой Тригубский. — Только скажи, сейчас же поедем, разберемся по-хорошему. Башку в пакете привезем, если прикажешь».

Эх, Кеша-Кеша, рыцарь охраны, как я могу ответить на твой вопрос? Кто может на него ответить? Москва, которая столько уж лет была у Фазы за пазухой, теперь стала выпирать дикообразными иглами. Да ведь не ехать же к тем, первичным дядечкам, за протекцией! Да ведь их, наверное, на прежних местах и не осталось, рассосались все по коммерческим структурам. Да и вообще чего от них ждать!

К концу дня измученный Фаза решил отправиться к «своим», то есть к теплому корешу, «альбатросу богемы», Модику Орловичу. Модька ведь и сам к нему иной раз притаскивался потрепетать о своих собственных «глюках». Толстомясая хумылка может быть забыта, если раскрутить, как в прежние времена, хороший артистический дебош. И впрямь, мастерская в Китай-городе, потный хлопотливый Модест, театр, антракт, новые девушки, все это вроде бы укрепило вегетатику, как вдруг в самый неожиданный момент он снова хумыльнулось ему, и вновь вокруг и внутри стал раскручиваться серпантин Долины Бекаа, населенной убийцами сверх всякой меры. Интродукция и Рондо-Каприччиозо, почему-то пробормотал он, пытаясь на всех своих скользящих добраться до угла опустевшего теперь фойе.

Художник Орлович, во время антракта в болтовне конечно забывший отлить, теперь спешил из туалета в зрительный зал и на ходу задергивал главный подвезд своих длинных штанов. Вдруг увидел в углу скорчившегося Фазу, своего лучшего друга, о котором, надо признаться, никогда не думал, пока тот сам не появлялся. При его появлении Орлович, надо сказать, всегда испытывал смутные угрызения совести. Вот, я о нем не думаю, а он хочет со мной общаться. А ведь он мне, между прочим, ящик денег подарил, которые мы даже не пересчитали.

Хотел было просскакать в рассеянности, как бы в борьбе с ширинкой, мимо друга, однако косячком заметил его глаза лошадиные. Замер на бегу и увидел: «за каплицей каплища по морде катятся, прячутся в шерсти»... Разными приемами представляя читателю международного дельца, гражданина Исламской республики Иран и постоянного резидента Российской Федерации Абулфазла Фазала, мы все-таки до сих пор еще не упоминали его плотную бородку, обтягивающую нижнюю часть лица, как своеобразное трико. Поэт, говоря о том, что у упавшей лошади «каплици» прячутся в шерсти, не знаем, что имел в виду. Может быть, гриву? Но тогда перевоначивается вся картина упавшей лошади. Мы же, употребляя здесь широко известную цитату, не допускаем никакой поэтической вольности. Слезы просто стекали из глаз Фазы и прятались в его бороде.

«Модик, умоляю, пойдем отсюда! В этом театре что-то такое есть... нетипичное... Давай сваливать!»

Дружба часто измеряется рубахою. «Последнюю рубаху другу отдаст», ну и так далее. Орлович тоже тут прибегнул к рубашечным критериям. Выпростал подол из штанов и вытер оным другу измученное влагой лицо.

Началась типичная для этого круга людей московская ночь, из тех, что иногда весь этот сброд называл «Сдвиг по Фазе». Поехали куда-то на «мерседесе» в сопровождении уже не одного, а двух полувоенных автомобилей. Фаза глотал коньяк из выдвижного бара, да и Модест не отставал. По сафьяновой книге султан звонил своим пэри в разные концы Москвы, в пригороды, в Санкт-Петербург, иногда и за границу, в частности, по лозаннскому телефону некоей Розали, которой говорил: «Дарлинг... бэби... заткнись, бляди кусок, я знаю все!»

Иногда караван останавливался возле какого-нибудь подъезда и оттуда выпархивала, дыша духами «Мистик», то есть почти впрямую «духами и туманами», нимфа сексуальной Москвы. Приникала к измученной щеке покровителя, шептала: «Милый... Фазочка... что с тобой... ну, ничего-ничего, мы вместе...» Таких заездов Модест насчитал пять или семь. Пришлось потеснить и охрану в их вездеходах.

Чтобы не рассусоливать эту сладкую жизнь вдоль бывшей Горькой улицы (мы ведь не раз тут уже рассусоливали, тут и репутацию навек погубили), перечислим лишь кратко те места, по которым прошла наша ночная экспедиция. Ну, разумеется, «Метрополь», где в Морозовском зале устаканивали фонтаны шампанского «Дон Периньон» под блины с кавиарами. Ну, джаз-клуб «Таверна Аркадия», где друзья молодости Алекс Козлоу и Герман Лукиан, похожие на профессоров средне-атлантических колледжей, вместе со своей ритм-группой, похожей на студентов тех же колледжей, приветствовали компанию ностальгической бравурой Moscow. Ну, и наконец, наиболее, так сказать, скандально известный притон Flights, что можно перевести, хоть и неточно, но близко к сути, как «Московские Атасы».

Когда Тригубскому назвали последнее направление, он нахмурился. «Это серьезно, шеф, — предупредил он. — «Атасы» в четыре утра и с нашим контингентом — это очень и очень серьезно, дорогой шеф!»

Сваливать надо, с порядочным уже унынием думал художник Орлович. Любовью он был в своей жизни более чем сыт, даже и пить — вот такая чепуха — больше в эту ночь не хотелось. Даже уже и верные пэри начинали очаровательно позевывать, а те, что поближе, шептали в маленькие ушки: «В постельку, Фазик, в Барвиху, котик?» Абулфазл, однако, был неутомим и неумолим. Этот цикл должен быть завершен, как в лучшие времена, ровный и твердой рукой направил экспедицию к известному дому в окрестностях Пушки, над которым когда-то парила каменная дева социализма, а теперь сияет тавро рынка недвижимости, Малка, еврейская царица.

По телефону из машины были уже заказаны столы. Отказать Фазе, конечно, нигде не могли, однако с некоторой истерической надеждой попросили: «Может, перенесем на завтра? У нас тут счастье неспокойно, друг!» «Вот и хорошо, что неспокойно! — взвизгнул в ответ Фаза. — Мы покоя не ищем!» Он ткнул Тригубского в железную спину: «Скажи ребятам, чтоб были наготове!» Почему-то он был уверен, что в этой дискотеке, в этом почти незамаскированном борделе, где телок снимают по три сотни баксов за штуку, вот именно в этих «Атасах» и произойдет решительное столкновение с глумливой толстогубой улыбкой из Долины Бекаа. Прятаться не буду, думал он, от вас не спрячешься.

«А ты бы меня сбросил, Фаза, а? — предложил Орлович. — Знаешь, тянет к холстам. Вдохновение какое-то посетило, боюсь упустить».

«Разве тебе не интересно, друг, присутствовать при закате Фазы?» — усмехнулся тут друг, да так холодно и отчужденно, как будто вовсе и не богатый жулик, как будто что-то в нем открылось врубелевское, по всем оттенкам лилового, как будто маленький демон.

Возле входа в бардак стояло отделение ОМОНа, десять молодцов в белых касках. Стояли волнаю, курили «Мальборо». Похабными взглядами проводили девичью свиту, четырнадцать великолепных ног. Внутри оглушительно ухала колотушка музыки. В пятнах света извивалась ламбада, показывала товар лицом. Жадная толпа мужских хищников медленно приближалась к вновь прибывшим. Семеро девушек преданно стояли за спиной своего маленького набоба, делали вид, что хищнические инстинкты местной своры не имеют к ним никакого отношения. Тригубский со своими «альфистами» выдвигался на передовую позицию.

Дежурный по залу, господин Фадеев, сам человек с богатым прошлым, солидно пожал руку дорогому гостю, после чего сообщил с полубратским наклоном, что атмосфера сгущается. Пришли три «афганца» и положили на стол штуку баксов. «Давай, — говорят, — шеф, работай! Нам надо эту штуку за два часа устажать». Таци три бутла «Белой лошади», три бутла «Чинзано», три упаковки пива и «Наполеон», только, падло, неразбавленный!» «Остыньте, ребята, остыньте и спрячьте ваши баксы под камуфляж, — такой им дается сейчас совет. — Тут бутылками не обслуживают. В дискотеках обслуживают дрынками, ясно? Может, вам в задней комнате накрыть, господин Фаза, с вашим комсомолом?»

«Дорогу!» — коротко, как сами видите, сказал Абулфазл Фазал и пошел прямо на мужскую стену. За ним все четыре-надцать туфелек зацокали. «Прошу внимания! — в отчаянии закричал диск-жокей. — Дамы и господа, отдадим дань ностальгии! Белый вальс! Приглашают девушки!»

Началось давление нескольких противостоящих мужских масс, и художника Орловича каким-то чудом вынесло на улицу.

Быстро зашагал в сторону. С горечью думал: мне там нечего делать. Пусть Фаза один наслаждается своей гибелью. Ничем не могу ни отдалить, ни приблизить. Мы все-таки даже не смежники. Я художник красок, а ты художник денег. Вот когда умру и мои цены в ебаном Сошебу пойдут на лимоны, тогда мы сомкнемся, тогда мы сомкнемся. Сейчас мы далеки. Даже твои девушки мне чужды, слишком хороши. Никакого сравнения с Музой Борисовной, или Птицей-Гамаюн, не говоря уже о чистейшей Кимберлилуючке! Тебя, мой друг, защищает центурион Тригубский, а мне ОМОН первому проломит голову. Все знают, что я противостоял бульдозерам в борьбе за родное искусство. Не из-за страха сейчас ухожу, а из-за непричастности. Хватятся: где Орлович? Попробуйте догадаться. Где же ему быть, если не в суровом своем ателье, не у сурового холста, не над крышами своего перевернутого града?!

В девятом часу утра Абулфазл Фазал добрался, наконец, до своего соснового оазиса в поселке Барвиха. Хаотическая разборка в «Московских Атасах» закончилась, как ей и надлежало, установлением его полного господства. Хоть и без Модика, но со всеми своими девушками он пил шампанское и с удовольствием смотрел, как протаскивали по полу и вышвыривали на Тверскую всяких там, то ли настоящих, то ли фальшивых, «афганцев». В целом все получилось недурно. Несколько раз откуда-то куда-то стреляли, однако у Фазы в целом не осталось никакого зловещего осадка. Гибельная рожа так и не выплыла и не повисла перед ним, даже и не промелькнула, как дважды случилось за прошедший день, хотя, если уж и завелась эта пакость в Москве, где же еще ей осесть, как не в «Атасах».

К рассвету Фаза развез по домам всех своих пэри и, к удивлению последней, пятнадцатилетней отличницы учебы Анюты, остался один. Везти приказал себя в Барвиху, к розовеющим уже восточными щечками соснам.

Дача, словно живая, шестью большими окнами смотрела, как он приближается к ней по асфальтовой дорожке. Он знал, что, когда откроет дверь, жилище заиграет для хозяина какую-нибудь музыку. Однако какую в этот раз? Прокофьева ли, Россини ль, что-нибудь из барокко? Нехитрое это устройство с музыкальным приветом он внедрил повсюду, где у него были дома: и в Лозанне, и в Париже, и на острове, извините за выражение, Ибица.

Поворот ключа, и мгновенно начинается мощный скрипичный концерт, «Репродукция и Рондо-Каприччиозо» Сен-Санса. Вот этого он почему-то не ожидал. Или как раз этого и ждал? Растерянность втянула его внутрь, и он начал ступать как бы в ритме скрипок — не слишком ли поспешный ритм? — от дверей к лестнице, по ковру, пересекая чуть колеблющийся узор отпечатка рассвета.

«Фаза, — тихо позвал сзади Тригубский. Он стоял с пистолетом в вытянутой руке: — Прости, не хотел в спину», — сказал он с симпатией.

«Ты не прав, Кеша! Ты не прав! Ты ошибаешься!» — вскричал Абулфазл. Концерт продолжался. Еще два-три такта, и он должен был замереть, уступив место тишине большого дома. У Тригубского больше нечего было сказать, и Абулфазл начал ловить пули. Одна, другая... В этот момент все окна дачи залепила мясистая улыбка Долины Бекаа. Третью пулю он пойма рт ом.

На панихиде много говорили о вкладе, который Абулфазл Фазал внес в развитие экономики, а также в науку менеджмента, эту новую отрасль знаний в возрождающейся России. Модест Орлович был весьма удивлен: оказалось, что его покойный друг был не только бизнесменом, но и теоретиком бизнеса.